

CODE: СССР-культура

ИТЕМ: А. СИНЯВСКИЙ С ЖЕНОЙ ДАЮТ ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ: О СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ,
О ЖИЗНИ В ЛАГЕРЕ И О ТВОРЧЕСТВЕ

«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ» № 2, 8 января 1989 г.

«ЭМИГРАЦИЯ — ОПЫТ СТРАШНЫЙ, НО ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ»



После публикации в «МН» (№ 37) беседы с Юлием Даниэлем «Я чист перед собственной совестью» в редакцию пришло много писем, в которых читатели интересовались судьбой писателя Андрея Синявского. Корреспондент Елена Платонова связалась с Парижем и взяла интервью у Синявского и его жены Марии Розановой.

Корр.: Вам, наверное, будет приятно узнать, что очень многие звонили, чтобы поздравить Даниэля, в его адрес пришли хорошие, добрые письма. Читателей интересует, как судьба свела вас с Даниэлем, как сложилась ваша жизнь.

А. Синявский: Меня с Юлием познакомила моя жена. Это было где-то в конце 1955 года... а летом 1956-го я закончил повесть «Суд идет» и отправил рукопись на Запад под псевдонимом Абрам Терц. К тому времени мы с Юлием успели настолько подружиться, что я не выдержал — прочитал ему эту повесть и все рассказал. И он сказал: «Я тоже хочу». Я говорю: «Слушай, это грозит тюрьмой». «Это меня не пугает», — ответил Даниэль.

Корр.: А у вас не было такой мысли: «Пронесет, может быть, ну кто узнает, все-таки под псевдонимами...»

А. С.: Нет, я предполагал, конечно, что «сколько вору ни воровать, а тюрьмы не миновать...»

М. Розанова: У нас с Синявским была такая традиция: встречать Новый год вдвоем. И вот каждый год, 31 декабря, подводя итоги, мы поднимали бокал за то, что вот в этом году Абрам Терц уцелел.

Вступаем в следующий. А в 1965 году его и Даниэля арестовали и в 1966-м судили.

Корр.: Считаете ли вы себя виновным — и тогда, и сейчас!

А. С.: Ни я, ни Даниэль не признали себя виновными. Любой человек, в любой ситуации должен вести себя естественно. Для меня было естественным именно такое поведение. Я и до сих пор не признаю нас виновными, потому что считал тогда и считаю сейчас, что литература, в особенности художественная литература, мелодрамна, ибо если литература станет подсудным делом, тогда вообще прекратится художественное и культурное развитие нации, страны... Поэтому у меня со следователем шли бесконечные теоретические споры о литературе, в сугубо вежливой форме... Я пытался убедить его, что у меня с Советской властью чисто стилистические разногласия и ничего больше.

Он вспылил: «Ну, знаете, может быть, через 20 лет вы окажетесь правы, но сейчас прав Я!». И я подумал, что оказаться правым через двадцать лет, по-моему, важнее, чем быть правым сегодня.

На суде шла брань в наш адрес — от судьи и прокурора до общественных обвинителей. А мне тот процесс сейчас вспоминается как

феерическое, забавнейшее зрелище. Я даже как-то начал писать пьесу об этом с заголовком «Ферерия». А потом последовал лагерь — самое для меня интересное и счастливое время жизни...

Корр.: Вы об этом говорите с иронией!

А. С.: Нет. Я совершенно серьезно говорю: для меня лагерь — самое замечательное время.

М. Р.: Вот тут я не могу не вмешаться. Представьте себе, еду я к Синявскому на первое свидание после суда. И мне уже многие рассказали о том, как трудно в лагере, как там скучно, как там плохо кормят, и вот я под тяжестью рюкзака с харчами внедряюсь в дом свиданий, ко мне конвой вводит Синявского — страшного страшного наголо, тощего, и я готова умереть от жалости к бедному зеку, а бедный зек мне говорит: «Слушай, Машка, здесь так интересно!»

А. С.: В самом деле: знакомство с лагерным миром порождало у меня, особенно в первые годы, ощущение глубокого, горького счастья. Это время, наверное, было наиболее тяжелым в физическом и психологическом смысле. На моем лагерном деле была резолюция: «Использовать только на физически тяжелых работах», а дома остался

CODE: СССР-культура

ITEM: А. СИНЯВСКИЙ ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ

121

восьмимесячный сын, с литературой, казалось, все конечно... а вместе с тем эстетически — не было поры счастливее. Я встретил в лагере свою «реальность», свою «среду», свою «натуру», о которой мечтает всякий художник. Ведь по своему складу, по манере я — автор, склонный к гротеску, к фантастике, к сказке, ко всякого рода «странностям» в природе вещей.

Корр.: А это не уведит от реальной жизни!

А. С.: Ни в коем случае! Фантастический реализм многое дает именно авторам XX века, потому что мы живем в фантастическую эпоху. Ведь кто ввел сам этот термин — «фантастический реализм»? Достоевский — наиболее созвучный нашему столетию писатель прошлого. Помимо прочего, фантастический реализм открывает новые художественные возможности. Для меня слово «фантастический» в этом

сочетании означает совсем не уход от жизни. Напротив, это приход к ней и попытка вскрыть более глубокие корни бытия. Там, в лагере, я как бы нашел себя, свой стиль, свой взгляд. Сам человек в лагере предстает в более концентрированном виде — и в добре, и в зле, в своей судьбе и психологии. Таких людей на воле вообще почти не встретишь. А если встретишь, то они не станут с тобой открывенничать.

Корр.: А в лагере...

А. С.: Мне повезло в общении с заключенными. Я был среди них «писателем», посаженным за книги, и хотя никто из них никогда этих книг не читал, но то, что нас с Даниэлем последними словами обругали в газетах, как бы служило доказательством, что книги наши правдивые, а мы люди честные.

В результате ко мне очень плохо относилось лагерное начальство, но очень хорошо зеки — разных мастей и характеров. Они доверяли мне и шли с утешениями, с наставлениями и воспоминаниями, которые так необходимы потерпевшему надежду, замученному человеку.

Корр.: Я знаю, что там вы написали три книги: «Голос из хора», «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Гоголя». Они сейчас изданы за рубежом на многих языках. Скажите, как вам удалось сохранить их в условиях лагеря?

А. С.: Очень просто. Два раза в месяц было разрешено писать письма домой, вот я и писал своей жене толстые, объемистые письма

Для лагерной цензуры они интереса не представляли и подозрения не вызвали. Из писем и родились новые книги Абрама Терца.

Корр.: Кстати, о ваших псевдонимах: почему еврей Даниэль — Николай Аржак, а русский Синявский — Абрам Терц?

А. С.: Прежде всего я отталкивался от избитой, с моей точки зрения, русской традиции, когда псевдонимы звучат красиво или многозначительно: Андрей Белый, Демьян Бедный, Михаил Голодный и т. д. Мне хотелось, чтобы мой псевдоним и звучал бы, наоборот, некрасиво и несколько сниженно, но экспрессивно. Абрам Терц, герой старой блатной одесской песни, еврей, а я сформировался в период борьбы с космополитами и я понял и перенял афоризм Цветаевой: «В сем христианнейшем из миров поэты — жида!» Поэт — изгой, возбуждающий негодование и насмешки, и в широком смысле писатель в моем понимании — это чужак.

М. Р.: Дело в том, что Абрам Терц и Андрей Синявский — это разные стилистики. В парижской Сорбонне читает лекции профессор Синявский — человек достаточно занудливый, несколько косноязычный, академичный, переполненный цитатами, ссылками и сносками. А вот

Абрам Терц — это веселый, очень жесткий герой, способный пройти по любому потолку. И общее у них только одно: оба косят на левый глаз... Я вообще считаю, что человек и писатель — это разные люди.

Корр.: Вы сказали как-то, что уехали из России, чтобы спасти написанное вами, стремилась к тому, чтобы литература задевала какие-то другие точки души.

А. С.: Вся жизнь я мечтал создать вторую литературу, вторую не в смысле антисоветскую, а другую по стилю. Ведь почему собственно за самого начала решил печататься за границей а не нес рукопись в «Новый мир», например? Я хорошо понимал, что книги, которые я писал, не могли быть в то время опубликованы в Советском Союзе.

Корр.: А как вам кажется, есть ли у нас сейчас эта другая литература?

А. С.: Да, и в частности. Пожалуй, рассказы Татьяны Толстой, Вячеслава Пьецуха, «Белка» Анатолия Кима, но самое интересное для меня произведение — это «Капитан Дикштейн» Михаила Кураева. О нем почему-то не пишут, но, по-моему,

это замечательная вещь. Теперь собираются печатать Ерофеева, «Москва — Петушки», самую мою любимую книгу. Налицо прелестное стилистическое разнообразие, появилась возможность дышать и жить в условиях советской литературы. А уж то, о чем сегодня пишется во многих советских газетах, настолько смелее наших с Даниэлем фантазий, что моя жена, прочитав очередную статью, задает наш дежурный домашний вопрос: «А за что же вас судили?»

Корр.: Мария Васильевна, вы редактор и издатель «Синтаксиса», расскажите о вашем журнале подробнее.

М. Р.: «Синтаксис» возник, когда прошла наша первая эмигрантская эйфория и выяснилось, что Синявскому опять негде печататься, что ему легче было попасть в «Новый мир» Твардовского, чем в парижскую эмигрантскую газету «Русская мысль». Открытие было тяжелым. Я как-то у Синявского спросила: «Скажи мне честно, когда тебе было легче: в первый год в лагере или в начале жизни в Париже?» И он ответил: «Первый год в лагере был легче».

Эмиграция — это опыт очень интересный, опыт очень страшный, но и поучительный; как в свое время Синявский стилистически разошелся с Советской властью, точно так же он разошелся и с эмиграцией. На одной из американских конференций, к примеру, однажды был прочитан доклад: «Второй суд над Абрамом Терцем». А какое-то публичное выступление Синявского сопровождалось демонстрацией: благообразная интеллигентная старушка в норковой шубке разгуливала перед Колумбийским университетом с большим плакатом: «Стыд и срам, товарищ Абрам!» Свой путь в России Синявский повторил в эмиграции.

Правда, Запад открывает и иные, совершенно немыслимые нами возможности. Например, создать свой журнал, построить его по своему разумению, повести на его страницах такой разговор, который кажется тебе важным. Ведь нам уже много лет, пора думать и о подведении итогов, и о том, что останется после нас. Вот я и хочу оставить после себя «Синтаксис» — независимый русский журнал, кстати говоря, поддерживающий идеи перестройки в России. И меня не останавливает то, что некоторые

CODE: СССР-культура

ИТЕМ: А. СИНЯВСКИЙ ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ

/3/

здесь называют «Синтаксис» «рукой Москвы». Для нас гласность — это возможность духовного воссоединения с Россией...

Корр.: Я знаю, Андрей Донатович, что вы в свое время читали курс лекций о литературе в школе-студии МХАТа. Если бы представилась такая возможность, согласились бы вы приехать и почитать их в каком-либо из наших вузов, пригласивших вас!

М. Р.: Пусть пригласят.

Корр.: Если бы сейчас вы жили в России, помогло бы это вашей творческой работе, ведь говорят «дома и стены помогают», или пока не стоит такой вопрос!..

А. С.: Душой, сердцем я живу русской культурой. Но мне представляется совершенно неважным, где прописано тело писателя, и когда меня спрашивают о возможности возвращения, отвечаю — пусть вернутся мои книги.

Корр.: Если бы теперь опубликовать ваши повести, за которые вас судили, они были бы поняты правильно!

А. С.: Я думаю, что в моих вещах ничего страшного нет... По-моему,

они очень легко вписываются в сегодняшний, очень расширенный, сравнительно с 1960 годами, литературный спектр. Я не знаю, почему советским читателям нельзя читать мою повесть «Графоманы» или «Гололедицу», или «Крошку Цорес», роман «Спокойной ночи»... Да и статья «Что такое социалистический реализм», которая была основным предметом судебного разбирательства в 1966 году, сегодня прозвучала бы вполне невинно: ведь основные ее мысли и образы сейчас постоянно мелькают на страницах советской прессы — и про ждановщину, и про сталинские тюрьмы, и про социалистический классицизм. И, может быть, только слегка заостренная форма и свободно закрученная фраза спасли бы ее литературное лицо от обвинения в банальности

Когда готовился этот номер, редакция получила сообщение о кончине 30 декабря 1988 года литератора Юлия Даниэля. Приносим свои соболезнования семье и близким покойного.

СК/СП